

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ

Издательство «АСТ»
представляет книги
Дмитрия Глуховского:

МЕТРО 2033
МЕТРО 2034
МЕТРО 2035
СУМЕРКИ
БУДУЩЕЕ
РАССКАЗЫ О РОДИНЕ

glukhovsky.ru

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ

МЕТРО 2035

роман



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г55

*Любое использование материала данной книги,
полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.*

Оформление обложки, форзаца, нахзаца — *Илья Яцкевич*

Автор благодарит Ларису Смирнову и Илью Яцкевича
за помощь в создании этой книги

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
Г55 Метро 2035 : [роман] / Дмитрий Глуховский. — Москва: Издатель-
ство АСТ, 2016. — 384 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского).
ISBN 978-5-17-090538-6

Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав sireны тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх — однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды найти других выживших...

«Метро 2035» продолжает — и завершает историю Артема из первой книги культовой трилогии. Эту книгу миллионы читателей ждали долгие десять лет, и права на перевод иностранные издатели выкупили задолго до того, как роман был окончен. При этом «2035» — книга независимая, и именно с нее можно начать посвящение в сагу, которая покорила Россию и весь мир.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Д.А. Глуховский, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2016



Фото Ильи Яцкевича

Дмитрий Глуховский, 2015

Глава 1

ТУТ МОСКВА

- Нельзя, Артем.
- Открывай. Открывай, говорю.
- Начстанции сказал... Сказал, не выпускать никого.
- Ты за идиота меня, что ли? Кого — никого? Кого это — «никого»?
- У меня — приказ! С целью защиты станции... От облучения... Не открывать.

Приказ у меня. Понимаешь?!

- Тебе Сухой приказ дал? Тебе мой отчим такой приказ дал? Открывай давай.
- Мне же по шапке из-за тебя, Артем...
- Ну я сам тогда, если ты не можешь.
- Алло... Сансеич... Да, на пост... Тут Артем... Ваш. А что я с ним сделаю-то?

Да. Ждем.

— Настучал, а? Молодец, Никицка. Настучал. Отвали! Я открою все равно. Все равно пойду!

Но выскочили из караулки еще двое, втиснулись между Артемом и дверью, стали мягко толкать его, жалея. Артем — заранее усталый, под глазами круги, еще после вчерашнего подъема не оклемавшийся — с часовыми управиться не мог, хоть драться никто с ним и не собирался. Стали сползаться любопытные: чумазные мальчишки с волосами прозрачными, как стекло, одутловатые хозяйки с руками синими и стальными от бесконечной стирки в ледяной воде, усталые и готовые на что угодно бездумно паяльщики фермеры из правого туннеля. Шептались. Смотрели на Артема, но и как бы нет; на лицах было у них — черт разберет что.

— И все ходит и ходит. Что ходить-то?

— Ага. И дверь каждый раз нараспашку. А оттуда сифонит, между прочим, сверху-то! Окаянный...

— Слушай, нельзя же... Нельзя так про него. Он все-таки... Всех нас. Спас же. Детей твоих вот.

— Спас, ага. А теперь что? Он для этого спасал их, что ль то? И сам рентген хаает, и нас всех тут... За компанию.

— За хер ему туда, главное? Было бы хоть что! Для чего!

Но вот среди всех этих лиц появилось одно: главное. Усы заброшены, волосы — жидкие уже и все седые — мостом перекинуты через плешь. Но лицо вычерчено одними прямыми линиями; никаких скруглений. И остальное в нем — жесткое, резиновое, не прожевать, словно взяли человека и проявили заживо. Голос вялили тоже.

— Разойтись всем. Слышали?

— Вон Сухой. Сухой пришел. Пускай забирает своего.

— Дядь Саш...

— Опять ты, Артем? Мы говорили же с тобой...

— Открой, дядь Саш.

— Разошлись, кому сказано! Нечего глазеть тут! А ты — пойдем.

Артем вместо этого сел на пол, на отполированный холодный гранит. Прислонился к стене спиной.

— Хватит, — одними губами, беззвучно, обозначил Сухой. — Люди и так шепчутся.

— Мне надо. Я должен.

— Там ничего нет! Ничего! Нечего там искать!

— Я же говорил тебе, дядя Саш.

— Никита! Ты-то что зеваешь? Давай, проводи граждан!

— Есть, Сансеич. Так, кому тут приглашения отдельные? Шевели, шевели... — затараторил Никицка, сгребая толпу.

— Ерунду ты говорил. Послушай... — Сухой выпустил надувавший его воздух, обмяк, сморщился, опустился рядом с Артемом. — Ты же гродишь себя. Думаешь, этот костюм от фона тебя спасет? Да он как решето! От платья ситцевого толку больше!

— И что?

— Сталкеры столько не поднимаются, сколько ты... Ты дозу-то пробовал считать? Ну ты жить хочешь или сдохнуть?

— Я уверен, что слышал это.

— А я уверен, что тебе причудилось. Некому там сигналы слать. Некому, Артем! Сколько я тебе говорить должен? Никого не осталось. Ничего, кроме Москвы. Кроме нас тут.

— Не верю.

— Да мне, думаешь, дело есть, во что ты там веришь, а во что нет?! А вот если у тебя волосы выпадут, до этого есть! Если кровью ссать будешь, до этого — есть! Ты хочешь, чтобы хрен у тебя отсох?!

Артем пожал плечами. Помолчал, взвешивая. Сухой ждал.

— Я слышал это. Тогда, на башне. У Ульмана в рации.

— А кроме тебя, никто не слышал. За все время, сколько ни слушали. Пустой эфир. И что?

— И я пошел наверх, вот что. Вот и все.

Артем поднялся на ноги, распрямил спину.

— Я внуков хочу, — сказал ему снизу Сухой.

— Чтобы они тут жили? В подземелье?

— В метро, — поправил его Сухой.

— В метро, — согласился Артем.

— И нормально они тут проживут. Хотя бы родятся. А так...

— Скажи им, чтобы открыли, дядь Саш.

Сухой смотрел в пол. В черный блестящий гранит. Что-то там, видно, было.

— Ты слышал, что люди говорят? Что крыша у тебя поехала. Тогда, на башне.

Артем скривил улыбку.

Набрал воздуха.

— Чтобы внуки, знаешь что надо было, дядя Саш? Надо было детей своих рожать. Ими бы и командовал. И внуки бы на тебя тогда были похожи, а не хер знает на кого.

Сухой зажмурился. Протикала секунда.

— Никита, открой ему. Пускай валит. Пускай околеет. Насрать.

Никица послушался молча. Артем удовлетворенно кивнул.

— Скоро вернусь, — сказал он Сухому уже из буфера.

Тот по стенке поднялся, обернул к Артему сутулую спину и зашаркал прочь, полируя гранит.

Грохнула дверь буфера, запираясь. Зажглась ярко-белая лампочка под потолком, двадцать пять лет гарантии, слабым зимним солнцем отразилась в грязном кафеле, которым в буфере все было обложено, кроме одной железной стены. Пластиковый стул рваный — отдышаться или ботинки зашнуровать, на крючке — поникший костюм химзащиты, в полу — сток, и шланг резиновый торчал — для дезактивации. В углу еще ранец стоял армейский. И трубка синяя висела на стене, как от телефона-автомата.

Артем влез в костюм — просторный, как чужой. Достал из сумки противогаз. Растянул резину, напаялил ее, поморгал, привыкая смотреть через круглые туманные окошки. Снял трубку.

— Готов.

Заскрежетало надрывно, и железная стена — не стена, а гермоворота — поползла вверх. Снаружи дохнуло стылым и сырым. Артем поежился зябко. Взял на плечи ранец — тяжелый, будто человека себе на закорки посадил.

Вверх вводили истертые и скользкие ступени бесконечного эскалатора. Станция метро ВДНХ — шестьдесят метров под землей. Как раз достаточная глубина,

чтобы авиабомбы не колыхали. Конечно, если бы ядерная боеголовка ударила в Москву, был бы тут котлован, залитый стеклом. Но боеголовки все были перехвачены противоракетами высоко над городом; на землю дождем шли только их обломки — лучащиеся, но взорваться не умеющие. Поэтому Москва стояла почти целая, и даже похожая на себя прежнюю — как мумия похожа на живого царя. Руки на месте, ноги на месте; улыбка...

А у других городов противоракетной обороны не было.

Артем крикнул, подсаживая ранец поудобней, воровато перекрестился, запустил большие пальцы под слишком свободные ремни, чтобы потуже, и пошел вверх.

* * *

По железу каски стучал дождь, гулко стучал, казалось, Артему в самую голову. Болотные сапоги топили в грязи, ржа ручьями откуда-то сверху бежала куда-то вниз, на небе было навалено облаков — не продохнуть, и дома пустые стояли во-круг, все поглоченные временем. Ни души в этом городе не было. Двадцать лет уже как — ни души.

Сквозь аллею, составленную из сырых лысых коряг, виднелась громадная арка входа на ВДНХ. Вот кунсткамера-то: по поддельным античным храмам рассажены зародыши надежд на будущее величие. Величие должно было наступить скоро — завтра. Только вот само завтра не наступило.

Гиблое место — ВДНХ.

Пару лет назад еще жила тут всякая дрянь, а теперь и ее не осталось. Обещали, что вот-вот опустится радиационный фон, и можно будет потихоньку возвращаться, вон, мол, мутантов-то наверху кишмя, а они тоже животины, пусть и исковерканная...

Вышло наоборот: сошла с земли ледяная короста, земля задышала и запотела, фон подскочил. А мутанты поцеплялись за жизнь своими когтищами — и, кто не сбежал, тот сдох. А человек сидел себе под землей, жил на станциях метро, и никуда умирать не собирался. Человеку много не надо. Человек любой крысе фору даст.

Трещал счетчик, начислял Артему дозу. Не брать его больше с собой, думал Артем, бесит только. Какая разница, сколько там натикает? Что это поменяет? Пока дело не сделано, пусть хоть истрещится.

— Пускай говорят, Жень. Пускай считают, что крыша поехала. Они же не были тогда... На башне. Они же вообще из своего метро не вылезают. Откуда им знать, а? Крыша... Бомбил я их всех в... Объясняю же: вот ровно в тот момент, когда Ульман на башне антенну развернул... Пока он настраивался... Было что-то. Слышал я! И — нет, сука, не причудилось. Не верят!

Автомобильная развязка дыбилась у него над головой, асфальтовые ленты пошли волной и застыли, стряхнув машины; те попадали, как придется, кто на четыре лапы, а кто на спинку, и околели в таких позах.

Артем огляделся коротко и двинул вверх по шершавому высунутому языку заезда на эстакаду. Немного было пройти — километра, может, полтора. У следующего языка торчали высоты «Триколор», прежде размалеванные торжественно в белый, синий и красный. Время потом все в серый переокрасило, по-своему.

— А почему не верят? Просто не верят, и все. Ну да, никто не слышал позывных. Но они откуда эти позывные слушают? Из-под земли. Никто же не станет наверх идти только за этим... Верно же? Но ты сам подумай: разве может такое быть, чтобы никто, кроме нас, не выжил? Во всем мире — никто? А? Бред же! Ну не бред?

Не хотелось смотреть на Останкинскую башню, но и не видеть ее было нельзя: отворачивайся от нее или нет, а она всегда маячит с краю — как царапина на противогазном стекле. Черная, сырая, обломанная по набалдашнику смотровой площадки; как рука чья-то со сжатым кулаком из-под земли пробилась, будто кто-то огромный хотел на поверхность снизу выбраться. Но увяз в рыжей московской глине, затиснуло его в тугой сырой земле, затиснуло и задавило.

— Я когда на башне в тот раз... — Артем скованно мотнул головой в ее сторону, — когда они слушали эфир, пытались поймать Мельника позывные... Там через это шуршание... Чем хочешь готов поклясться... Было! Что-то было!

Плыли над голым лесом два колосса — Рабочий и Колхозница, схватившиеся в странной своей позе, то ли по льду скользя, то ли танго крутящие, но друг на друга не глядя, как бесполое. А куда тогда они смотрят? Видно им с их высоты, что за горизонтом, интересно?

Слева осталось чертово колесо ВДНХ, огромное, как шестеренка того механизма, который вращал Землю. И вместе со всем механизмом колесо уже двадцать лет как замерло и ржавело теперь тихо. Кончился завод.

На колесе написано было «850»: столько лет исполнилось Москве, когда его поставили. Артем подумал, что исправлять это число смысла нет: если время некому считать, оно останавливается.

Некрасивые и невеселые небоскребы, казавшиеся раньше бело-сине-красным, выросли в полмира: совсем близко. Самые высокие здания в округе, если не брать в расчет сломанную башню. То, что надо. Артем запрокинул голову, достал взглядом до вершины. От этого сразу заломило в коленях.

— Может, сегодня... — без знака вопроса спросил Артем, хоть и помня, что уши у неба заткнуты облачной ватой.

Там, конечно, не расслышали.

Подъезд.

Подъезд как подъезд.

Домофон осиротел, железная дверь обесточена, в аквариуме консерва со-бака дохлая, жестяно лязгают почтовые ящики на сквозняке, ни писем в них, ни рекламного мусора. Все давно собрали и сожгли, чтобы хоть руки погреть.

Внизу — три немецких блестящих лифта, распахнутые и сверкающие нержавеющей сталью, как будто на любом из них можно было сейчас взять вот так, да поехать на самый верх этой высотки. Артем их за это ненавидел. И рядом — дверь пожарного хода. Артем знал, что за ней. Считал уже: сорок шесть этажей пешком. На Голгофу всегда — пешком.

— Всегда... Пешком...

Ранец весил сейчас всю тонну; и эта тонна давила Артема в бетон, мешала идти, с шага сбивала. Но Артем все равно шагал — как заведенный; и как заведенный говорил.

— Ну и что, что нет противоракет... Все равно... Должны были... Должны были еще где-то... Люди... Не может быть, чтобы только тут... Чтобы только в Москве... Только в метро... Вот же — земля... Стоит... Не раскололась... Небо... Очищается... Не может ведь такого... Чтобы — вся страна... И Америка... И Франция... И Китай... А Таиланд какой-нибудь... Он-то вообще кому чего сделал... Его вообще не за что...

Не бывал, конечно, Артем, в свои двадцать шесть ни во Франции, ни в Таиланде. Почти не застал он старого мира: опоздал родиться. А у нового география поскуднее — станция метро ВДНХ, станция метро Лубянка, станция метро Арбатская... Кольцевая линия. Но, разглядывая в редких туристических журналах фотографии Парижа и Нью-Йорка, отфильтрованные плесенью, Артем сердцем чувствовал, что эти города еще есть где-то, стоят, не сгнули. Ждут, может, его.

— Почему бы... Почему бы только одной Москве остаться? Нелогично, Жень! Понимаешь? Нелогично! А значит... Значит, просто мы поймать их... Их позывные... Не можем... Пока. Надо просто продолжать. Нельзя руки опускать. Нельзя...

Высотка была пустой, но все равно звучала, жила: через балконы влетал ветер, хлопал дверными створами, дышал с присвистом через лифтовые шахты, шебуршал чем-то в чужих кухнях и спальнях, притворялся вернувшимися хозяевами. Но Артем уже не верил ему, даже не оборачивался, и в гости не заходил.

Известно, что там, за стучащими беспокойно дверями: разграбленные квартиры. Остались только снимки по полу разбросанные — чужие мертвецы себя никому на память сфоткали, да совсем громоздкая мебель, которую ни в метро, ни на тот свет с собой не протащишь. В других домах окна от взрывной волны повывлетали, а тут стеклопакеты, выдержали. Но за два десятка лет все пылью заросли, как от катаракты ослепли.

Раньше можно было встретить в иной квартире бывшего хозяина: ткнется противогазным хоботом в какую-нибудь игрушку и плачет через хобот гнусаво, и не слышит, как к нему сзади подошли. А теперь уж давно никого не попадалось. Кто-то остался лежать с дырой в спине рядом с этой своей дурацкой игрушкой, а другие поглядели на него и поняли: нету наверху дома, и нету там ничего. Бетон, кирпич, слякоть, асфальт треснутый, кости желтые, труха из всего, ну и фон. Так в Москве — и так во всем мире. Нет нигде жизни, кроме метро. Факт. Общеизвестный.

Всем известный, кроме Артема.

А вдруг есть на бескрайней Земле еще одно место, пригодное для человека? Для Артема и для Ани? Для всех со станции? Место, где не было бы над головой чугунного потолка, и где можно было бы расти до неба? Построить себе дом — свой, жизнь — свою, и из этого места уже обживать дальше заново постепенно всю сожженную землю?

— Всех наших... Разместил бы... На воздухе... Жили бы...

Сорок шесть этажей.

Можно было бы остановиться и на сороковом, да и на тридцатом; никто ведь не говорил Артему, что непременно надо забраться на самую вершину. Но он отчего-то вбил себе в голову, что если и может у него что получиться, то только там, на крыше.

— Конечно... Не... Не так... Высоко... Как на башне... Тогда... Но... Но...

Окошки противогаза заперли, сердце взламывало грудную клетку, и как будто заточкой кто-то нащупывал, где у Артема под ребро можно пролезть. Сквозь противогазные фильтры дышалось скудно и натужно, не хватало жизни, и Артем, добравшись до сорок пятого, как в тот самый раз, на башне, не выдержал и сорвал с себя тесную резиновую кожу. Хлебнул сладкого и горького воздуха. Совсем другого воздуха, чем в метро. Свежего.

— Высота... Может... Там же... Метров триста... Высота... Поэтому, может... Поэтому, наверное... С высоты... Ловит...

Он свалил с себя ранец: дотащил. Уперся окаменевшей спиной в крышку люка, выдавил его наружу, выбрался на площадку. И только тут упал. Лежал навзничь, глядел на облака, до которых было — рукой подать; уговаривал сердце, успокаивал дыхание. Потом поднялся.

Вид отсюда был...

Как если бы умереть, полететь уже в рай, но упереться вдруг в стеклянный потолок, и зависнуть там, и болтаться под этим потолком, ни туда и ни сюда. Но понятно, что вниз с такой высоты вернуться больше нельзя: когда ты сверху увидел, какое на земле все на самом деле игрушечное, как это все снова потом все-речь воспринимать?

Рядом высились еще два таких же небоскреба, прежде пестрые, ныне серые. Но Артем всегда именно на этот поднимался. Так уютней было.

Случилась между облаками на секунду бойница, стрельнуло из нее солнце; и вдруг показалось, что блеснуло что-то с соседнего дома, не то с крыши, не то из пыльного окна одной из верхних квартир. Как будто зеркальцем кто-то луч поймал. Но пока успел оглянуться — солнце обратно забаррикадировалось, и блеск пропал. Больше не было.

Глаза сами съезжали все время, как Артем ни отводил их, к переродившемуся лесу, который разросся вместо Ботанического сада. И — к черной лысой пустоши в самой его сердцевине. Такое мертвое место, будто Господь на него остатки горячей серы выплеснул. Но нет, не Господь.

Ботанический сад.

Артем его другим помнил. Только его-то он и помнил из всего пропавшего довоенного мира.

Странное дело: вот вся твоя жизнь состоит из кафеля, тюбингов, текущих потоков и ручьев на полу вдоль рельсов, из гранита и из мрамора, из духоты и из электрического света.

Но вдруг есть в ней крохотный кусок другого: майское прохладное утро, по-детски нежная недавняя зелень на стройных деревьях, изрисованные цветными мелками парковые дорожки, томительная очередь за пломбиром, и сам этот пломбир, в стаканчике, не то что сладкий там, а просто неземной. И голос матери — ослабленный и искаженный временем, как медным телефонным кабелем. И тепло от ее руки, от которой ты стараешься не отцепиться, чтобы не потерять — и держишься изо всех сил. Хотя разве такое можно помнить? Наверное, нельзя.

И все это, другое — такое неуместное и невозможное, что ты и не понимаешь уже, было ли оно с тобой наяву или просто приснилось? Но как этому сниться, если ты такого никогда не видел и не знал?

Стояли у Артема перед глазами меловые рисунки на дорожках, и солнце сквозь дырявую листву золотыми иголками, и мороженка в руке, и оранжевые смешные утки по коричневому зеркалу пруда, и шаткие мосточки через этот пруд осененный — так страшно в воду упасть, а еще страшней в него уронить вафельный стаканчик!

А вот лица ее, лица своей мамы, Артем вспомнить не мог. Старался вызвать его, на ночь просил себя увидеть его хотя бы во сне, пусть бы и забыть снова к утру — но ничего не получалось. Неужели не нашлось в его голове крохотного уголка, где мать могла бы спрятаться и переждать смерть и черноту? Видно, не нашлось. Но как может человек быть — и совсем исчезнуть?

А день тот, а мир тот — они куда могли запропасться? Вот же они были — тут, рядом, только глаза закрыть. Конечно, в них можно вернуться. Где-то на земле

они должны были спастись, остаться — и звать всех, кто потерялся: мы тут, а вы где? Надо только услышать их. Надо только уметь слушать.

Артем поморгал, потер веки, чтобы глаза видели снова сегодня, а не двадцать лет назад. Сел, раскрыл ранец.

Там была радиостанция — армейская, громоздкая, зеленая-исцарапанная, и еще одна бандура: железный ящик с ручкой-крутилкой. Самодельная динамо-машина. И на самом дне — сорок метров шнура, антенна к радиостанции.

Артем связал все провода, прошел по крыше круг, разматывая шнур, отер воду с лица и снова нехотя влез в противогаз. Сжал голову наушниками. Огладил пальцами клавиши. Крутанул рукоять динамо-машины: моргнул диод, зажужжало, завибрировало в ладони, как живое.

Щелкнул тумблером.

Закрыв глаза, потому что боялся, что они помешают ему выловить в шуме радиоприбора бутылку с письмом с далекого континента, где выжил кто-то еще. Закачался на волнах. И динамо крутил — словно рукой на плоту надувном подгребал.

Наушники зашипели, завывали тоненько «Иииииу...» сквозь шорох, заперхали чахоточно; помолчали — и снова шипеть. Как будто Артем бродил по туберкулезному изолятору, ища, с кем поговорить, но ни один больной не был в сознании; только нянечки прикладывали палец к губам и строго делали «шшшшшш...». Никто тут не хотел отвечать Артему, никто не собирался жить.

Ничего из Питера. Ничего из Екатеринбурга.

Молчал Лондон. Молчал Париж. Молчали Бангкок и Нью-Йорк.

Неважно уже давно было, кто начал ту войну. Неважно было, с чего она началась. Для чего? Для истории? Историю победители пишут, а тут некому было писать, да и читать скоро некому будет.

Шшшшш...

Пустота была в эфире. Бескрайняя пустота.

Иииииу....

Болтались на орбите неприкаянные спутники связи: никто их не звал, и они сходили с ума от одиночества, и бросались на Землю, чтобы пусть уж лучше сгореть в воздухе, чем так.

Ни слова из Пекина. И Токио — могила.

А Артем все равно крутил эту проклятую ручку, крутил, греб, греб, крутил.

Как тихо было! Невозможно тихо. Невыносимо.

— Тут Москва! Тут Москва! Ответьте!

Это его голос, Артема. Это он, как всегда, не дождался, не вытерпел.

— Тут Москва! Прием! Ответьте!

Иииииииу.